

## **«И ЖИЗНЬ, КАК ЧУДО, БЕРЕГУ» (о поэзии и прозе Алексея Солодова)**

В статье «Поэзия с человеческим лицом» я уже коснулась поэзии А. Солодова — но именно коснулась, как бы мимоходом. Тоненькая книжечка «Завещание» — единственное, что было под рукой, чем я тогда располагала. Но мне не давало покоя ощущение, что я далеко не всё сказала об этом поэте, что его творчество заслуживает иных, более весомых слов и оценок. Но мне не хватало материала. И вот — встреча с самим автором, которая подтвердила мои ожидания. Был такой фильм: «Космос как предчувствие». Так вот это предчувствие космоса чужого внутреннего мира оправдалось с лихвой. Две подаренные Алексеем книги «Потерявшийся пёс на холодном снегу» и «Колыбельная для мамы» глубоко захватили меня, почти на неделю заслонила собой окружающую злободневную жизнь с её суетными заботами. Это было стопроцентное попадание во все мои болевые точки: память, безысходность тоски по близким, неизбывное душевное одиночество, — боже, как я понимала его, всей кожей, всеми нервами, всем своим существом. Я поняла, что не могу не написать обо всём этом. Но, просидев дня два над своими выписками и выплесками, с ужасом осознала, что и написать я тоже не могу. Чувства и мысли переполняли, но как только ручка приближалась к листу — возникал некий ступор, зажатость, вызванные страхом неточного слова, фальшивой ноты, возможной неадекватности душевного состояния той форме, что оно примет на бумаге. «Мысль изречённая есть ложь». Но всё же попытаюсь. Пусть это будет — как любит называть свои монологи Цветаева — Попыткой понимания, Попыткой оценки.

### **Простота, добро и правда**

Было бы кощунством судить эти книги как литературные произведения. Есть вещи, о которых хочется сказать: «Это уже не искусство. Это больше, выше, чем искусство. Это правда». Скупость изобразительных средств, которую не променяешь ни на какой избыток. Так всё просто. Что мне в этой чужой неброской жизни? А не оторваться.

«Мне кажется, что уже тогда, сидя на лавочке, приложив ухо к бабушкиной спине, я понимал, что это — одни из самых счастливых минут в моей жизни. Поэтому, наверное, я и растягивал эти вечера, как мог. Поэтому они и запомнились навсегда. Я до сих пор помню, как звучал голос бабушки, когда я прикладывал ухо к её спине.

Вы будете смеяться, но я сам себе иногда напоминаю старую ракушку, которая давно лежит в какой-нибудь квартире, но стоит её приложить к уху, и она расскажет вам, как шумит море. Ничего удивительного: просто самые счастливые минуты у этой ракушки были связаны с морем. А как можно забыть самые счастливые моменты? Ах, если бы можно было кинуть монетку тогда, чтобы вернуться ещё раз в то время!» («Потерявшийся пёс на холодном снегу»).

Эта проза не роскошествует, довольствуется лишь необходимым. Минимум фабулы, минимум фантазии. Ей, поздней прозе (А. Солодов «резко», как он сам говорит, вошёл в литературу, когда ему было уже под сорок), с которой человек, в сущности, уходит из жизни, скучно упаковывать себя в прокрустово сюжетное ложе, скучно рядиться в маски вымышленных героев. Читая её, вспоминаешь правило Л.Толстого: «Простота, добро и правда», девиз Батюшкова: «Живи, как пишешь, пиши, как живёшь». Не знаю, знал ли их Солодов, но писал он, явно следуя этим заветам.

Это не акунинско-донцовская продукция, так называемое читиво. Но и не высоколобый «поток бессознания», что именуют теперь литературой. Мне хорошо видна обратная сторона всех этих аристократических претензий на неё: безжизненность,

искусственность, академизм, выпендрёж, плохо зарифмованные амбиции. Это тоже не писатели, это литературные умельцы. У Солодова всё настоящее, не лукавое, не мякинное, кровное, своё. Это два разных подхода — даже не к литературе, к жизни.

«Меня приветствовали огромные, выше домов, тополя. Может быть, они могли бы рассказать мне про моего папу. Тогда, тридцать лет назад, когда он жил здесь, они были совсем молодыми. Я шёл по папиной улице, как когда-то ходил по ней папа, и тополя смотрели мне вслед. И, может быть, один из этих тополей посадил папа, а потом наблюдал, как он подрастает: сначала до второго этажа, потом до третьего... Тополь рос, а папа старел. Где ты, папин тополь?» («Как мы искали папу»).



Как всё точно, без промаха. Ни одного случайного, лишнего, неточного слова. Нет, это не мастерство профессионала. Это точный компас души, сердца, который указывает автору безошибочный путь — по прямой к сердцу читателя, подсказывает самые верные, самые правдивые слова. Слова, которые не придуманы, а выношены, выстраданы, пережиты.

### Горящая тема поэта

Владимир Соколов писал: «Нет в стихах каких-то новых правил./Было б сердце да горела б тема». В стихах Алексея Солодова есть эти две главных составляющих: горячее сердце и горящая тема. Это живые стихи. Они вспыхивают в тебе и болят, как ожог. Они «не пишутся — случаются».

Стихи надо прожить. Лучшее в них — от жизни, и только от неё. Настоящие, живые стихи идут только от того, что действительно с тобой было, прошло через сознание, сердце, печень. Писать надо только те стихи, которые нельзя не написать. Это не я сказала — это Блок, из его «Записных книжек». Если стихотворение ничем нас не затронуло — поэтически оно бессмысленно, каким бы модным «слововерчением» ни обладало. Стихи Солодова меня завораживают, трогают до слёз. Безошибочный критерий настоящего в искусстве — когда строки вызывают желание их запомнить, переписать, вобрать в себя. Когда чувствуешь: это — моё, это словно я написал, и — почему это не я написал! На фоне нынешнего оголтелого авангардизма, бездушия, бессмыслицы — боже, как же мало такой поэзии!

От творений «эстетных» поэтов — ни холодно, ни жарко, они ничего не дают ни уму, ни сердцу. Это мёртвые поэты, поэты выдуманных миров. Они — как мёртвые языки, на которых уже никто не говорит. За их стихами ничего не стоит, нет ничего, кроме буковок на бумаге. Они не оплачены ни душевной болью, ни выстраданной мыслью. Просто холодные головные стилистические упражнения, не более того. А если всё этим и ограничивается, то никакого оправдания их существованию нет, они обречены на дурной запах мёртвых слов, о котором с брезгливостью писал Н. Гумилёв.

(«И дурно пахнут мёртвые слова»).

В стихах А. Солодова — ощущение внешней простоты и прозрачности, отсутствие какой бы то ни было пряности и мишуры.

Всё вокруг играет,  
всё вокруг живёт.  
Почему же этот  
тополь не цветёт?

...И никто не знает,  
как ему помочь,  
чтоб печаль из сердца  
улетела прочь.

Бабочки летают,  
соловей поёт...  
Почему же этот  
тополь не цветёт?

Никакого щегольства метафорами и перезвонами, никакого красноречия, никаких патетических жестов, нищенски бедный словарь — но в этом отсутствии эффектов и заключается сильнейший эффект: чем безыскуснее форма этих внешне неказистых стихов, тем вернее они доходят до сердца. В поэзии техника должна быть невидима, потому что сила стихов — в их естественности. Цель поэзии — поэзия, а не поэтика, как учил В. Соколов.

### Кораблик

Тонет в канаве кораблик бумажный,  
юный герой, первоклашка отважный.  
Может, он ищет свою бригантину,  
может, мечтает покинуть рутину,  
может, тоска его душеньку гложет,  
может, он здесь оставаться не может?  
Он не боится, не плачет, не стонет,  
он доплывёт, он не верит, что тонет.  
Тонет бумажное сердце, в котором  
столько любви к океанским просторам!  
Столько в нём чести, любви и отваги —  
в маленьком этом кусочке бумаги!..



## Заповедник

Я в старый заповедник свой  
не каждого пущу.  
Я здесь вечернею порой  
мечтаю и грущу.

Тут голубые небеса  
и звонкий детский смех,  
и всем, кто верит в чудеса,  
сопутствует успех.

Я заповедник берегу  
от мелочных обид.  
Любовь на этом берегу  
с надеждой говорит.

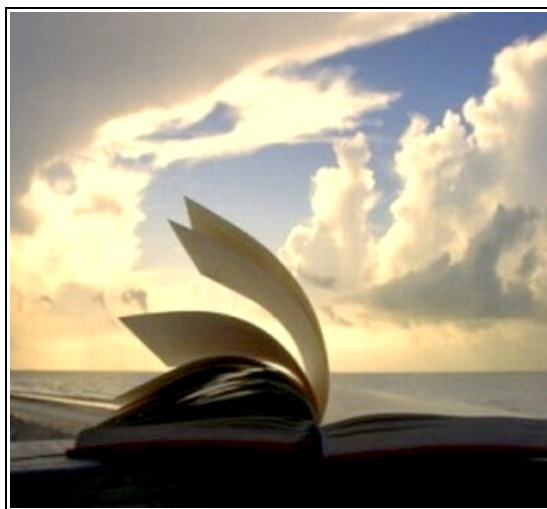
Плывёт за сказочной мечтой  
кораблик по реке.  
И в той мечте, с любовью той  
лежит рука в руке.

Пусть заповедника и нет  
на глобусе пока,  
но никогда не видел свет  
прекрасней уголка.



Наивные, бесхитростные строки. Рифмы — самые обычные. Какими средствами это сделано? Голой душою. В памяти всплывают стихи безвестной монахини, читая которые, Марина Цветаева испытывала «чувство стыда за свои собственные». («Искусство при свете совести»). С этим названием перекликаются солодовские строки: «Меня всё чаще гложет совесть, тревожит память о былом». И у Блока инстинкт художнической совести был гораздо острее инстинкта художественного. Он, как и Цветаева, воспринимал искусство только «при свете совести».

Я эту боль на бумаге оставил.  
Текст написал, запятые расставил.  
Вот эти буквы, каракули, точки,  
горькие слёзы, неровные строчки,  
долгие проводы, краткие встречи,  
яркие звёзды и тихие речи.  
Спряталась робко под эту обложку.  
Пейте её по чуть-чуть, понемножку.



Я пила взахлёб. Вспоминается, как Маяковский восхищался стихотворением Светлова «Гренада», и как тот смущённо в ответ признался, что в нём плохие рифмы. Маяковский сказал ему тогда: «Эти стихи мне так понравились, что я не заметил, какие там рифмы». Я всё могу простить живым стихам: бедные рифмы, угловатость слога, неудачную строку — всё это наживное — ради праздника чувства и мысли, ради той очищающей боли, что они мне дарят. А гладким, «профессиональным», но мёртворождённым виршам, ряженым в павлиньи перья мнимой поэтичности, не прощу ничего. Мало поэтов, способных писать так, то есть внутренне богатых настолько, что они не боятся внешней простоты и аскетизма. Такие стихи — как первые подснежники, олицетворяющие поэзию. Неброские, негромкие, но в них куда больше первозданной, трепетной прелести, чем в пышных и пошлых в своей кричащей красоте розах и пионах.

Я хотел бы, как голубь, летать в облаках,  
чтоб держали влюблённые в крепких руках  
по цветку, и как встарь, получали бы вновь  
драгоценный конвертик со словом «любовь».



Подавляющее большинство пишет стихи, прибегая к всевозможным украшениям (поэтизмам), создавая тем иллюзию художественности. Но эта красота искусственная, как бы достигнутая с помощью грима, макияжа. Если поэту есть что сказать, то он инстинктивно ищет слов, наименее способных отвлечь внимание от целого, от той сущности, что разлита во всём стихотворении, а не цепляется за отдельные его части. Он не боится метафор и эффектов — они просто не нужны ему. С высот того, что ему виделось в минуты замысла, всё это — мишура.

Я боюсь потерять эту лунную ночь,  
что под утро, как сказка, уносится прочь.  
Я боюсь потерять этот зимний мороз,  
и навязчивый запах плохих папирос,  
этот насморк проклятый, усталость и грипп,  
и открытой калитки простуженный скрип.  
Гололёд я боюсь потерять и туман,  
и скандалы с соседом, который карман  
мне порвал в пьяной драке у всех на виду,  
и речушку, куда я никак не приду:  
всё дела и дела, всё потом и потом,  
а года пролетают и быстро притом;  
эту жизнь, что бывает порой нелегка,  
и, как длинный роман, утомляет слегка,  
я боюсь потерять, я боюсь потерять —  
сам себе, как молитву, я стал повторять.



### Память сердца

Каждая минута тут же становится прошлым. В сущности, существует только прошлое.

Я болен прошлым: каждый раз,  
когда закат вечерний тает,  
вчерашний день пленяет нас  
и до утра не отпускает.



И к горлу подступает ком,  
и грудь сжимается клещами.  
Я не забуду ни о ком.  
Я помню всех. Я их вещами  
наполню комнату свою,  
и время прошлое вернётся...



«Жить — значит терять», — писал Пастернак. Солодов не может, не хочет с этим примириться. Он хочет обрести даже то, чего никогда не имел, но что было обещано Богом, что смутно грезилось в детских мечтах, снах, воспоминаниях.

В этом городе я до рассвета грущу,  
в этом городе я человека ищу.  
В этих каменных джунглях нетрудно пропасть.  
Сколько душ проглотила голодная пасть!  
...Я ищу человека, как ищут в ночи  
своей дальней-далёкой горящей свечи.  
Он когда-то любил и рассветы встречал,  
его голос на улицах этих звучал.  
Где найти мне архив, что тот голос хранит —  
не ответит холодный, как вечность, гранит.



Он пишет об этом и в своей пронзительно-человечной автобиографической повести «Как мы искали папу».

«Вместе с ветром появились тяжёлые дождевые тучи. Я люблю дождь, особенно сейчас, когда лето такое жаркое. Но этим странным вечером я точно знал, что всё это: и переполненные маршрутки, в которых для меня нет места, и надвигающийся дождь — дело рук папы. Он прячется от меня. Ему хорошо там, где он сейчас, без меня. Он не хочет, чтобы его тревожили, и не пустит меня к себе. ...Дорога всё время шла вверх, всё ближе и ближе к небу. В считанные минуты город остался где-то внизу, позади, а кругом — огромное небо с тяжеленными, провисшими до макушек тополей, тучами. Как по волшебству, исчезли дома, улицы и люди. Осталось одно небо и эти страшные, ошестившиеся тучи. И дорога, которая несла нас прямо в эти тучи. Они, как пограничники, сделают всё, чтобы мы не пересекли заветный рубеж.



...Грянул гром, как последнее предупреждение от стражников. И молния, длинная и стремительная, как кинжал, пронзила как раз ту тучу, в которую мы должны врезаться. Было немного боязно, и одновременно очень тянуло туда, в святая святых, куда не пускают посторонних. Но нас сегодня, может быть, всё-таки пустят».

А потом — захватывающие, как детектив, поиски: один адрес, другой, Архив, ЖКО, расспросы соседей, прохожих... «Сегодня очень грустный день: я расстался с надеждой найти когда-нибудь своего отца. Отца, которого совсем не знал, но не хватает которого с каждым годом всё сильнее и сильнее. Я шёл мимо этих милых старых домов, скамеек и деревьев, как когда-то ходил другой человек — Александр Иванович Петров. Он родился 28 июня 1929 года, а умер в 1985 году. Это был мой папа...»

Читаешь с перехваченным, как петлёй, горлом. Папу они так и не нашли. Но всё же, всё же, всё же... «И всё-таки что-то во мне сегодня поменялось. Изменилось отношение к жизни — сиюминутной и неповторимой, к Вечности, ко всему живому. ...Мой старый город всё помнит, обо всех знает, но никогда не расскажет свои секреты. ...И вдруг я услышал, как из открытой форточкой на четвёртом этаже доносится папина любимая песня. За то время, что я искал папу, эта песня стала и моей любимой тоже. Мужской голос звучал тихо, как будто пробивался сквозь годы, отделявшие меня от того далёкого зимнего вечера, когда эту песню пел папа у нас дома: «Когда б имел золотые горы...» Был



тёплый майский вечер, а я вспоминал зиму 1977 года. Песня закончилась, а я всё стоял, и мне не хотелось никуда уходить...»

Он пытается вспомнить, что было до него: как жили отец и мать до его рождения? Он хочет вернуться в Тамбов 31-го года — город, где родилась его мама.

Как я мечтаю уехать в Тамбов,  
как мне охота увидеться с мамой!  
Пусть меня встретит средь милых дворов  
старый мороженщик с белой панамой.

Гордый камыш задремал у пруда.  
Тихо стоит на окошке алоэ.  
Хочется очень поехать туда,  
взглядом счастливым окинуть былое.

Где эта улица, где этот дом?  
Где тот фонарь, что горел до рассвета?  
Столько хорошего в городе том...  
Было — и нет его — кануло в Лету.

Время несётся, как всадник, вперёд.  
Плачет, поёт и ликует природа...  
Только покоя никак не даёт  
старый Тамбов тридцать первого года.



«Годы шли, я вырослел, мама с бабушкой старели. По вечерам мы всё так же сидели на этом же самом диване. Но теперь, если бабушка погружалась в сон, я уже не будил её. Телевизор продолжал работать, но я уже смотрел не на него, а на бабушку. Пока она спала, сидя на диване, и глаза её были закрыты, я смотрел на неё, стараясь запомнить её навсегда. Чтобы потом, спустя много-много лет, она возвращалась ко мне из глубин моей памяти. Пока она около меня тихо дремала от усталости, я досконально изучал её лицо, запоминал каждую морщинку...» («Квартирант»).

Потом уже не будет бабушки, а вслед за ней — мамы. Одиночество ненадолго скрасит квартирант Серёга, ставший настоящим другом.

«Серёга, спасибо тебе за всё... Это ты спасал меня все эти три года: от тоски и

одинокства. Это ты вселял в меня веру в то, что всё ещё в моей жизни будет хорошо. Даже если ты остался на свете совсем один, и нет уже никого из родных — ещё ничего не потеряно, если рядом находится хоть один верный тебе человек. ...Как нам было хорошо! Мы шутили, веселились, все вечера проводили вместе. А я это всё фотографировал: на память, на память, на память... Будто я без фотографий когда-нибудь это забуду. Такое не забывается. Но если кроме простой человеческой памяти останутся ещё и листочки бумаги с дорогими лицами — это ли не счастье!». Как он боялся теперь потерять и эти случайные крупинки душевного тепла, как хотел их сохранить навечно, вопреки неумолимым необратимым дорогам жизни, бегущим вперёд и вперёд, оставляя позади всё, что дорого.

Я вперёд не смотрю, мне назад посмотреть интересней:  
что я видел когда-то и где я, наверное, был.  
И былое мне кажется тихой задумчивой песней:  
мне пропели её в колыбели, и я не забыл.

Как тепло и ностальгично становится на душе, когда читаешь стихи Солодова о недавнем советском прошлом:

Пусть смешным вам покажется это и пошлым,  
я сегодня пойду на свидание с прошлым.  
Пусть разбудит меня «Пионерская зорька»,  
комсомольская свадьба, весёлое «горько!»  
«Пионерскую правду» из шкафа достану,  
прочитаю заметку «Салют Казахстану».  
И рассказ Пантелеева «Честное слово»  
перечитывать буду я вечером снова.  
...Газировка на улице, пиво в бидоне,  
а в трамваях компостеры в каждом вагоне.  
Пью зелёный «Тархун» и сидро «Буратино».  
Из окна Пугачёва поёт «Арлекино».  
Чёрно-белый экран, телевизор «Берёзка»,  
отрывной календарь, холодильник «Морозко».  
...А дворовый футбол, а игра на баяне,  
а весёлые шутки по «Радионяне»!  
Театральный кружок, акварельные краски —  
это детство моё проплывает, как в сказке.  
Заурядное детство, обычное детство,  
чтоб вернуться сюда — не придумано средство.  
Я лопату возьму и прочищу дорожку  
к тем годам, по которым тоскую немножко...

Или вот это, о старой пластинке:

Долгие годы пластинка молчала.  
Песня, которая в детстве звучала,  
вновь зазвучала, и в памяти снова  
Ленка из школы бежит Иванова.  
Дом сорок шесть, я живу в этом доме,  
книжки читаю, рисую в альбоме,

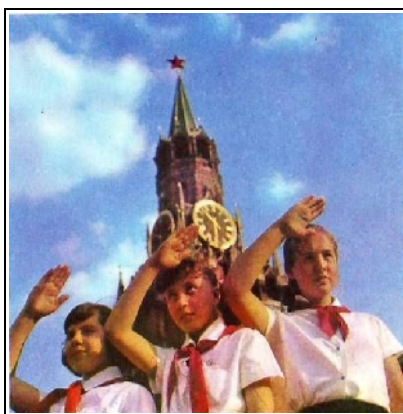
в школу хожу и дружу с Ивановой,  
трескаю завтраки в школьной столовой...  
Двойки, пятёрки, уроки, продлёнка,  
локти, колени, бинты и зелёнка,  
драки, болячки, любовь и кокетство —  
я вспоминаю счастливое детство.  
Кляксы, чернила, перо, промокашка,  
вы не поверите: я — третьекласска.  
Кухня и старая песенка эта...  
Годы прошли, но она не допета.  
Мы эту песню когда-то учили,  
ценный значок за неё получили.  
Знамя, субботники, Красная Пресня...  
Всё позабыто. Напомнила песня.  
Скоро мы с Ленкой поедem в «Орлёнок»,  
я — пионер, а она — октябрёнок.  
Скоро мы вырастем, взрослыми станем,  
но никогда-никогда не устанем  
Родиной нашей советской гордиться  
и по-стахановски жить и трудиться...  
Долгие годы пластинка молчала,  
старую песню поставьте сначала.

Как же он не боится такое писать, — думала я, — не боится возможных насмешек, обвинений в совковости. Да, есть небольшая ирония над собой, над тем временем, но она так добродушна, что тонет, почти неразличима в тоне умилённой растроганной ностальгии по былому. Мне вспомнилась давняя газетная статья А.Сафроновой, где она писала вот о таком же своём пионерском детстве с раздражением, чуть ли не с гадливостью: о синих резиновых крутых яйцах на завтрак в лагере, глупых отрядных линейках, надоевших песнях в строю. Моё детство тоже прошло в пионерских лагерях, но я ничего этого не помнила. Помнила романтику костров, походов, слёзы при расставании с новыми подружками, свою первую школьную любовь. Как пишет Дмитрий Быков: «Восторг телячий или щений/ С годами падает в цене,/ Но страшен мир без обольщений/ И нечем в нём прельститься мне». Но это сейчас мы стали умными и сытыми скептиками, а тогда... Как это у Солодова:

Как хорошо в стране советской  
жилоь в году шестидесятом.  
Всё в памяти осталось детской.  
Я в том году учился в пятом.

...И Первомайские знамёна  
горят, как пламенные лица.  
Флажки, гармошка, листья клёна —  
пусть это вечно будет длиться!

...Я — пионер страны прекрасной!  
Клянусь: перед врагом не струшу!  
И к Ильичу с гвоздикой красной  
приду и клятвы не нарушу.



Да-да, именно так всё и было! И пионеры-герои, и сборы металлолома, и наивная вера в коммунизм. Взвейтесь, кострами... Вот и стали мы на год взрослей... Школьные годы чудесные... Не хочется смеяться над этим. Хочется плакать. Как я писала, правда, по другому поводу:

И слёз своих, души озноба,  
всего, что не стереть годам,  
писаке, критикану, снобу  
я не отдам.

И опять Солодов:

«Мы все — советские ребята!» —  
я начертил гвоздём на парте.  
Как хорошо жилось когда-то  
в стране, которой нет на карте!

(«Как хорошо мы плохо жили», — писал Борис Рыжий, дав исчерпывающую формулу той эпохи.)

Я люблю этот город и нашу страну  
и всё чаще свою ощущаю вину...

Как просто и безыскусно сказано. (Не крикливо и самонадеянно, как у Куракина: «Ты ещё нужен России!») Вот оно, настоящее. Тёплое, сердечное, нутряное. Это то, что давало ему силы для борьбы с тоской по былому.

И каждый день назло ветрам  
рассвет включаю по утрам.

«Незаметно для себя я опять погрузился в воспоминания. А этого делать нельзя, потому что воспоминания — такая сильная штука, что затягивает тебя надолго. Мне, например, очень трудно бывает возвращаться из прошлой жизни — в сегодняшнюю. Если говорить откровенно, мне вообще не хочется покидать прошлое. Была бы моя воля, я бы остался там навсегда». («Квартирант»).

Как мне это знакомо, близко. «Я, как наледью, скована памятью», — так начинается одно из моих стихотворений. Я читаю Солодова и вижу, читаю между его строк свою тоску, свою боль. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймёт ли он,

чем ты живёшь?» — эти опасения Тютчева, казалось, совсем не коснулись Алексея. Ему удавалось это — и высказать своё сердце, и найти отклик у читателя — легко, без всяких к тому усилий и стараний. Когда-то Н.С.Могуева, мой самый лучший Читатель, ставший Другом, писала мне в своём первом письме: «Так мы, оказывается, с Вами из одной страны, мы с Вами земляки!», имея в виду общую страну наших душ, так счастливо обретших друг друга. Теперь я могла бы Алексею сказать то же самое. Мы из одной страны — не только из той, советской страны детства, но и из страны Тоски, (И.Анненский слово «Тоска» писал с большой буквы), Памяти, Ностальгии по невозвратному.

«По вечерам я смотрел в окно. Напротив нашего дома стоит большая девятиэтажка — такая же, как наша. Люди возвращались с работы, включали свет, и этот дом оживал. Я видел, как в этих окнах садились за столы, ужинали, мыли посуду. Мне нравилось наблюдать, как те, кто там живут, — смотрят телевизор, отдыхают, что-то читают... Мне так хотелось быть одним из них.



Я смотрел на них и думал о том, что совсем недавно в моих окнах тоже текла жизнь, а теперь она остановилась. Когда-нибудь она продолжит свой путь, но это будет уже другая жизнь. А та, что остановилась, так и останется на том же месте и в том же времени, где она закончилась. А вот память о ней тяжёлым рюкзаком будет висеть у меня за спиной всегда. И нести мне этот рюкзак ещё долго-долго, и с каждым годом он будет всё тяжелее и тяжелее.

В соседнем доме горят окна. Эти окна живые. А жизнь в моих окнах закончилась с последним стуком маминной палочки, с последним ударом её сердца». («Потерявшийся пёс на холодном снегу»).

Желание помочь, как-то утешить разбивались об утёс невозможности, неумолимости законов жизни и смерти. Сказать: «И это пройдёт»? О, нет. Он знает цену этих обманов: «Поверьте мне, и через много лет/ Вам будет так же больно, как вначале». Так можно сказать лишь с высоты своего личного опыта. («Верующая? Нет. Знающая из опыта», — говорила о себе Цветаева). Жизнь безутешна.

«Что я могу? Чем помогу?» — писал Ф. Сологуб. Скорее, Алексей сам помогал мне — сознанием, что я не одна. Как когда-то помог Кушнер своими строчками:

В отчаянье или в беде, в беде,  
кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,  
знай: до тебя уже на сумрачной звезде  
я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.



Чтоб не увидели, я отводил глаза.  
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный.  
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса  
уже испытаны на хриплый крик безгласный.

Кто б ни был ты, тебе уже не так  
мучительно и одиноко?  
Пройдись по комнате иль на диван приляг.  
Жизнь оправдается, нежна и синеока.



И я тогда в ответ на эти стихи писала:

Здесь до меня он был, он плакал в коридоре.  
Мне музыка и боль души его слышна.  
И, кажется, на треть укоротилось горе.  
Ура, не я одна! Ура, не я одна!



Ты тоже не один, Алёша. Пусть это хоть немного утешит тебя.

«Я теперь часто себя ругаю. Знаете, почему? Потому что некому меня теперь ругать. И хвалить тоже некому. С тех пор, как... Вот я и ругаю себя теперь сам и хвалю себя тоже только сам. Но от этого ещё больнее: лишний раз напоминает, что я не только разговариваю за маму, но и живу за неё. Понимаете: за себя и за неё тоже! Потому что когда за неё разговариваешь — хоть немножечко, но веришь, что она всё ещё здесь...»

И жизнь хороша, и ликует душа,  
и все без ключей открываются двери,  
и солнце по небу плывёт не спеша —  
до первой потери, до первой потери.

До первой потери так хочется жить!  
Потеря по-своему всё перемесит.  
А если её на весы положить —  
она перевесит, она перевесит...

Смерть — то, к чему нельзя привыкнуть никогда. И только любовь может превозмочь эту боль. Любовь подлинная, без срока давности. Именно такая любовь — без конца и без края — даёт силы, чтобы жить дальше.

А я сижу на берегу  
и жизнь, как чудо, берегу...



«И вдруг я понял, почему так происходит: опять ко мне прошлое вернулось, держит меня за руку и не отпускает. Словно голос какой-то доносится неизвестно откуда, может быть, как раз из прошлого и доносится: «Посиди ещё немного, Алёша, не уходи».

Обратной дороги давно уже нет,  
она заросла травой.  
И в прошлое напрочь затерян след.  
Но тополь ещё живой.

«Где же оно теперь, моё прошлое? Ведь не может же быть, чтобы его нигде не было?» (Блаженный Августин).

«Достаточно остаться одному, и ты вновь оказываешься во власти прошлого. И у тебя нет ни сил, ни воли, ни желания побороть его, оказать хоть какое-то сопротивление. И ты, — чтобы, если не победить (о победе тут не может быть и речи: силы слишком не равны), то хотя бы пережить эту тоску, начинаешь придумывать то, во что даже сам не веришь. Ты, как дурак, как самый последний идиот, хватающийся за спасительную соломинку, внушаешь сам себе: а может, мама не умерла, и бабушка тоже? Может быть, они живы, просто я об этом не знаю? Не может быть, чтобы человек смеялся, ходил на

работу, любил другого человека, рожал и воспитывал детей, строил планы на будущее — одним словом: был, а потом вдруг — раз, и исчезал навсегда, как будто ничего этого не было. Но я же знаю, что они были, я свидетель! Мама ходила на работу, бабушка крутилась, как белка в колесе, и, казалось, никогда не будет этому конца. Какой конец, кому он нужен, этот конец? Пусть всё останется, как было, ведь всё было так хорошо...» («Квартирант»).

Это, как заклинание, звучит на протяжении всей книги. Мне вспомнилась любимая книжка моего детства «Когда я снова стану маленьким» Януша Корчака. Как герой, став взрослым, часто вспоминал своё детство, своих родителей, которых уже не было в живых. И ему так хотелось хоть на миг вернуться в те прежние годы. Однажды, думая об этом, он вздохнул глубоко и тяжело. И вдруг перед ним явился гном: маленький человечек в колпачке, с красным фонариком, которым размахивал вправо-влево, вправо-влево. «Ты меня звал, вот я и пришёл. Чего ты хочешь?» — «Звал?» — «Ну да. Ты меня вызвал Вздохом Тоски. Многие думают, что заклятие — это обязательно слова. Да нет же, нет. Ну, говори своё желание!» И герой прошептал: «Хочу снова стать маленьким».

Этот старичок-гномик был — время, а фонарик — память человеческая. А память может мгновенно вернуть человеку и детство, и любой час жизни, и любого человека, который был ему близок и дорог когда-то. Правда, в возвращении в прошлое всегда есть непрочность и печаль.

Всю ночь кричала громко птица.  
Луна плыла.  
Мне мама не могла присниться:  
она была.

Варенье, что она варила,  
ещё стоит.  
А свитер, как и говорила,  
тепло таит.

И платье, что она носила,  
ещё висит.  
А маму никакая сила  
не воскресит.

Но вторит маятник упрямый  
мне в унисон:  
она была, и это самый  
счастливым сон.

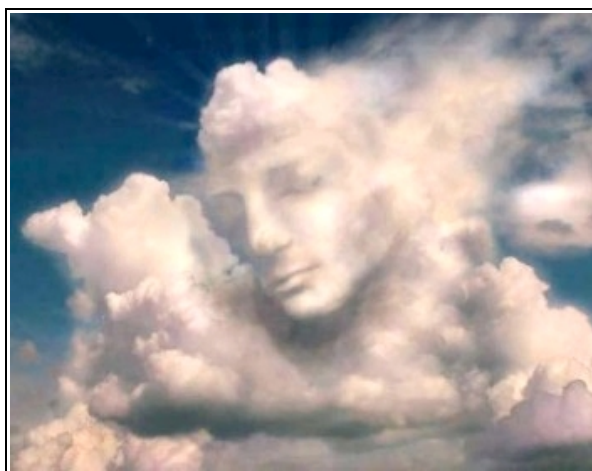
«Мне иногда кажется, что когда я прихожу сюда, на кладбище, мама с бабушкой в это время приходят ко мне в квартиру и, может быть, обходят её всю, а потом садятся на диван отдохнуть. Отдохнут, посидят немного и быстренько, чтобы успеть до моего возвращения, уходят обратно. Потому что хоть и хорошо им там, на новой квартире, но нет-нет, да и сюда, на старую, потянет. Я же вам говорю: они не умерли, а просто переехали...» («Квартирант»).

«Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностью: были». А для него даже не были: они есть. Они рядом.

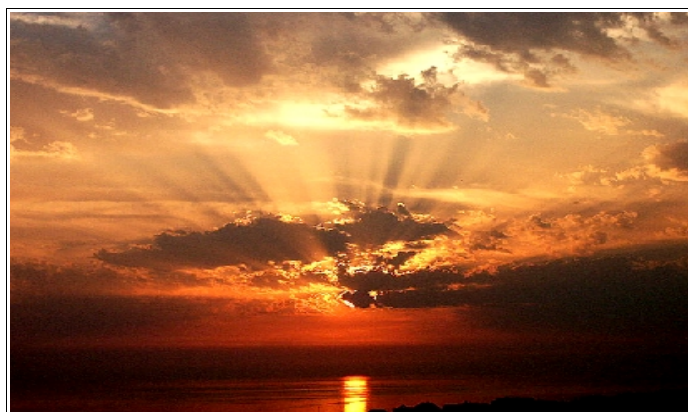
Закрываю плотно рамы,  
лампу не гашу.  
Колыбельную для мамы  
по ночам пишу.

Рана в сердце одиноком  
ночью не видна.  
В небе, тёмном и глубоком,  
плавает луна,

отражаясь, как панама,  
в озере лесном.  
Колыбель, в которой мама  
спит спокойным сном...



«Иногда мне в голову приходят совершенно idiotские мысли. Например, когда-нибудь, когда я пойму, что меня тут уже ничего не держит, я обниму последний солнечный луч и вместе с ним улечу далеко-далеко за горизонт. Мне даже кажется, что лучи заходящего солнца очень настойчиво уговаривают меня всё бросить и полететь вместе с ними. Только вы поймите меня правильно: я не слышу никаких голосов, я же не сумасшедший, чтобы додуматься до того, что солнце разговаривает. Я просто придумал сам себе такую сказку, вот и всё. И когда-нибудь, по сказочным законам, я всё-таки поддамся уговорам солнечных лучей и, поборов страх перед неизвестностью, в самый последний момент улечу отсюда вместе с последним лучом». («Квартирант»).



Эти строки могут застать врасплох неподготовленных материалистов. Но это так. То, что мы любим — никуда не уходит. Оно просто меняет место, облик, пространство. Оно не может уместиться в том ящике, спрятанном в землю. Оно, это чудо, смотрит на нас с неба, ласкает снегом, ветром, дождём, глядит из каждого угла. Смерть сообщает лишь новую форму любви, она превращает любовь в судьбу. А у скольких людей не было этого счастья любви и тепла, нет при живых родителях! Как же должен быть счастлив Алёша этой болью-любовью. Он ни за что не отдал бы её, ни за что не расстался бы с нею.

Старая боль от меня уходила.  
Я проиграл, а она победила.  
Дикую боль провожая в дорогу,  
я прослезился как мальчик, ей-богу.

Всю отмеренную дорогу каждый из нас бежит от суетного по направлению к настоящей жизни. Вот она, кажется, там, за поворотом... Но нет, опять не повезло, то был мираж... И ты сознаёшь: копайся внутри, обретёшь. Царствие Божие внутри нас.



### Спасительная боль

«Однажды я посмотрел в зеркало и сам себя не узнал, вот как сильно я изменился. Под глазами круги, взгляд — как у побитой бродячей собаки, а на лице такая тоска, словно меня вот-вот запинают ногами, как бездомного пса. Только собаки, даже бездомные, на что-то надеются, а мне уже всё равно, что со мной будет: я всё потерял.

На работе считают, что мне надо жениться и тогда всё пойдёт как положено. И мне будет легче, потому что голова моя будет занята совершенно другими мыслями. А мне пока не хочется ничего. Какой из меня сейчас жених, я на человека-то не похож: побитая бродячая собака, оставшаяся без хозяина, — вот кто я теперь. Ошейник у этой собаки остался, а вот хозяина уже нет...»

Когда я читала эту повесть («Потерявшийся пёс на холодном снегу») с замечательным изображением тоскливой пёсьей морды на обложке (рисунки и художественное оформление всех книг — самого А.Солодова, в «прежней» жизни —



художника-карикатуриста, лауреата многих международных художественных конкурсов), то в голове всплывали цитаты поэтов, оставивших такой же «наждачный» след в душе:

Каждый сам себе отвори свой ад,  
словно дверцу шкафчика в душевой. (С. Гандлевский)

Взгляни! Не ты ли виновата,  
что у меня в груди дыра,  
что все другие — лишь заплатка  
на эту пропасть у ребра. (Б. Рыжий)

Вам жить, а мне не очень... (А. Ахматова)

Думать не надо, плакать нельзя. (С. Липкин)

Все эти строки могли бы стать эпитафиями к его книге.

«Я закрыл глаза, и мамина палочка ожила. Сначала до меня донёлся скрип кровати, на которой лежала мама, а потом, как первая капля дождя в жаркий летний полдень, — кап!.. И опять тишина. Неужели показалось, и дождя не будет? Я жду и надеюсь, что вслед за первой упадёт вторая, а за ней — третья капля... Как мне нужен этот дождь, я так устал от жары... Дождик, ну пожалуйста, ну что тебе стоит. Ты очень нужен мне сейчас, мне трудно, я скучаю по тебе... И вот — вторая, долгожданная капля упала на землю. Значит, мне не показалось, и дождь действительно начинается! Моё сердце замерло. Кап! Кап!.. Кто-то пожалел меня и выпустил эти капли на свободу. Их уже не остановить. КАП, КАП, КАП!!! Боже мой, как мне стало хорошо! Не передать, какое счастье я испытываю сейчас от этих лёгких, слабых и любимых, как капли дождя, звуков маминой палочки. Тук-тук... Кап-кап...Тук-тук... Мама, как и раньше, идёт ко мне, чтобы сказать: «Алёша, вставай». Ещё несколько шагов, и я услышу её голос. Пусть тихий, слабый, но в нём такая сила, что, услышав его, я буду способен горы сдвинуть. Да что там говорить, я буду на всё способен, как только услышу этот голос...

Я открыл глаза. Моё лицо мокрое. По щекам текут не капли дождя, а слёзы. Мне опять всё только послышалось: и мамина палочка, и шорох её тапочек, и скрип её кровати. Моё сердце колотится, словно я упал с высокой скалы, которую только что хотел сдвинуть, а слёзы текут, текут... В полной тишине только ещё одно сердце — железное сердце будильника напоминает мне, что я один в этой пустыне, а дождь — всего лишь мираж».



Она и не знала,  
когда умирала,  
что будет так больно ему.  
Цветочек любимый,  
судьбою хранимый,  
не нужен теперь никому.

Он слёзы глотает,  
что делать не знает,  
тоскуя, стоит на ветру.  
Единственный мальчик,  
седой одуванчик,  
он весь облетит поутру.

Никто не поможет,  
а память тревожит  
в июльские ночи сильней.  
А боль не проходит,  
до сердца доходит.  
Зима б наступила быстрее!

Он выбрал бы ложе  
и умер бы тоже,  
и в снежном лежал терему.  
Она и не знала,  
когда умирала,  
что будет так больно ему.



Спасение приходило в счастливых снах.

«И мне приснилась мама. Она вошла в мою спальню совершенно здоровая, без палочки. Погладила меня, как маленького, по голове, улыбнулась и сказала: «Не скучай так, сынок. Что ты так по мне скучаешь?» «Я не скучаю», — ответил я. А она всё

держала свою руку у меня на голове и повторила ещё раз: «Не надо скучать, я прошу тебя».

А потом я вдруг оказался на кухне. Там у окна стояла бабушка. А на столе был настоящий пир — чего там только не было. И мы все троём сели за стол.

Мне было так хорошо, что когда я проснулся посреди ночи, то не мог понять: всё это было на самом деле или мне это только приснилось».

Я сам не знаю, как без вас живу.  
Уж сколько лет мне хочется проснуться,  
чтоб снова не во сне, а наяву  
увидеть вас, прижаться, прикоснуться.

Я сильным стал: я плакал много раз,  
но слова «мама» не сказал ни разу.  
Кончается терпения запас,  
я так хочу увидеть всех и сразу.

Жизнь — это счастье, переходящее в боль.

Ныла ночами открытая ранка:  
как надоела ей боль-квартирантка!  
Боль вытекала по капле, но снова  
вдруг вспоминалось забытое слово,  
праздники, ссоры, улыбка, разлука...  
Боль без промашки стреляла из лука.  
То возвращалась, то вновь уходила,  
рваные раны мои бередила,  
бедную память тревожа ночами,  
старыми фото, былыми речами...



Он так привык к этой боли, что уже не мог без неё обходиться, он уже почти любил её, свою боль. Пестовал, нянчил, как больного ребёнка. Достоевский писал: «Человеку для счастья нужно ровно столько же счастья, сколько несчастья». Звучит на первый

взгляд кощунственно, но если вдуматься — как это верно. Отними у нас наши дорогие воспоминания, даже мучительные, нашу тоску по ушедшей или неосуществимой любви, наши страдания, чувство вины, жалости, что останется? Ведь всё это и составляет нашу душу живу. (Хотя многие живут «по Олейникову», написавшему:

Но наука доказала,  
что душа не существует,  
что печёнка, кости, сало —  
вот что душу образует.)

Душа — слишком тонкая субстанция. Она не для толстокожих и толстосумых.  
«Хожу по опустевшей квартире и, кажется, вот-вот сойду с ума от тоски и одиночества. Тоска — бескрайняя, нескончаемая, мучительная... Она преследует одиноких, несчастных, слабых. Сейчас она охотится на меня и знает, что охота будет удачной». («Квартирант»).

Ещё чуть-чуть, и я готов,  
сопротивляться бесполезно:  
вот-вот меня проглотит бездна,  
её пополнится улов.

В руке сожму бокал вина  
для избавленья от печали.  
Мне страшно будет лишь вначале,  
но это — лучшая цена.

Мы расквитаемся потом.  
Оставьте, господа и дамы!  
Я — сын, мне не хватает мамы  
на этом свете и на том.



Кто-то скривит губы, пожмёт плечами, покачает головой: «Инфантилизм! Нытьё. Пессимизм. Суицидные настроения». Сколько раз я слышала подобное и в свой адрес. Когда-то такие стихи клеймили словом: «упадничество». Но вспомните, как зачитывались у нас «упадническим» Надсоном, запрещённым по этой же причине

Есениным, позже — Георгием Ивановым с его «Посмертным дневником». Потому что эти стихи — для всех, у кого живая душа, а не только «печёнка и сало». Из нас хотели растить бодрых духом физкультурников, у которых «вместо сердца — пламенный мотор». Пастернак возмущённо писал по этому поводу:

И я испортился с тех пор,  
как времени коснулась порча,  
а горе возвели в позор,  
мещан и оптимистов корча.

Когда я читала книги Солодова, я всё время вспоминала один из моих любимых рассказов Татьяны Толстой «Чистый лист». Помните, как он начинается?

«Каждую ночь к Игнатьеву приходила тоска. Тяжёлая, смутная, с опущенной головой, садилась на краешек его постели... Рука в руке с тоской молчал Игнатьев; запертые в его груди, ворочались сады, моря, города, хозяином их был Игнатьев, с ним они родились, с ним были обречены раствориться в небытии. Бедный мой мир, твой властелин поражён тоской...» «Тоска обняла, положила голову ему на грудь, на срубленные сады, обмелевшее море, пепелища городов...» «Опять подбиралась тоска, вечерняя подруга. Выглядывала из-за водосточной трубы, перебегала мокрую мостовую, шла, смешавшись с толпой, неотступно следила, ждала, когда Игнатьев останется один. Окна зажигались в высоте — одно за другим».

Алексей не читал этого рассказа, я спрашивала, но как же близок ему этот герой! И эта тоска, неразлучная подруга, и освещённые окна, за которыми он с грустью наблюдает чужую жизнь: «Когда на улице темно, а ты думаешь об окнах, в которых горит свет, на душе становится легко. И электричка в такт моим мыслям, чтобы меня поддержать, стала поддакивать: «да-да, да-да, да-да»... А я подумал: а вдруг это волшебная электричка, и она везёт меня к моей маме и бабушке? А что: вот подъедем мы сейчас к станции, выйдем из вагона, и они меня встретят. Мама меня спросит: «Как доехал, сынок?»

Лучше бы я об этом не думал. Только тоску сам на себя нагнал. Жаль, конечно, что не бывает никаких волшебных электричек...»

У Татьяны Толстой: «Игнатьев плакать не умел и потому курил. Маленькими, игрушечными зарницами вспыхивал огонёк. Игнатьев лежал, тосковал, чувствовал табачную горечь и знал, что в ней — правда».

У Солодова: «Я закурил из-за тоски. Оправдание плохое, необидительное, но, наверное, самое точное. Если бы не тоска, которая мучила меня дни и ночи по прошлой жизни, по любимым людям, я бы никогда не закурил. В трудных ситуациях некоторые начинают пить, а я решил начать курить».

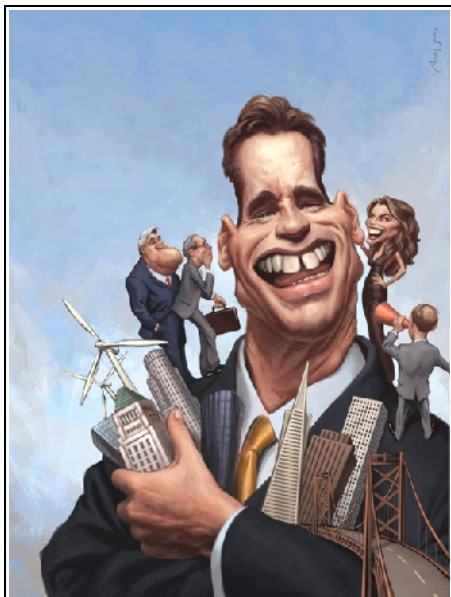
Герой рассказа Толстой, измученный тоской и неразрешимыми жизненными проблемами, прослышал, что в одном научном институте делают частным образом операции: удаляют душу. После чего «люди выходят совершенно обновлённые. Необычайно обостряются мыслительные способности. Растёт сила воли. Все идиотские бесплодные сомнения полностью прекращаются. Всё у них о'кэйчик, живут припеваючи, над нами, дураками посмеиваются».

Игнатьев долго не мог решиться на эту операцию, несмотря на уговоры друга. «Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, думал Игнатьев. Не удержать лето слабыми руками, не предотвратить распада, рушатся пирамиды, трещина пролегла через моё трепещущее сердце...» Но деловой приятель его убеждает: «Жизнь, Игнатьев, жизнь! Здоровая, полноценная жизнь, а не куриное копание! Карьера. Успех. Спорт. Женщины. Прочь комплексы, прочь занудство! Ты посмотри на себя: на кого ты похож? Нытик. Трус! Будь



мужчиной!» И вот непоправимое произошло.

«Краем глаза увидел, как прильнула к окну, прощаясь, рыдая, застилая белый свет, преданная им подруга — тоска, — и уже почти добровольно вдохнул пронзительный, сладкий запах...» Однако вместо волевого победителя жизни с кресла после ампутации души встаёт бодрый debil: «Ну что, док, я могу мотать? Всё мне сделал, без дураков?» — хлопнул доктора по плечу. Крепкими пружинистыми шагами сбежал с потёртых ступеней, лихо заворачивая на площадках. Сколько дел — это ж ё моё! И всё удастся. — Игнатъев засмеялся. — Солнце светит. По улицам бабцы шлёндрют. Клёвые...»



Типичный герой нашего времени, не правда ли? А Солодов никогда бы не пошёл на такую ампутацию. И он чувствует, что не вписывается в общепринятую колею, что всегда был «чужой на этом карнавале».

Я неверный, наверное, выбрал маршрут.  
Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют.

Увы, но мне признать пора:  
моя проиграна игра.

Я падаю в пропасть. Как мне не пропасть?  
У пропасти этой голодная пасть.

Порой в его стихах звучит неприкрытое отчаянье. «Не теряйте отчаянья!» — так сказал Н. Пунин Ахматовой, когда его уводили под конвоем, как оказалось, навсегда. Пока душа болит — она жива.

Я не верю, не верю, не верю, не верю,  
ожиданьями жизнь свою длинную мерю.

Подрезали крылья, подрезали крылья!  
Мне крылья подрезали бровкой тупою.

Но они отрастают снова — его крылья!

В холодном небе белый след от самолёта.  
Пропали ласточки ещё до листопада.  
Я пожелаю им счастливого полёта,  
я скоро тоже полечу, мне очень надо.

...Я на почте, как голубь, служить захотел  
и над городом голубем белым взлетел.  
Мне не страшно, а сердце, как птица, дрожит.  
Кто-то крикнул: «Смотрите, он снова летит!»



Душа мается, не находит себе места. «Пока душа не успокоится» — так называется одна из поэтических книг Алексея Солодова.

Вот-вот последний ангел скроется,  
поняв, что делал всё не так.  
И лишь душа не успокоится,  
не успокоится никак.

Но пока душа жива — она не успокоится никогда.

Я поменять хочу планету.  
На этой мне планете тесно.



Но:

Я эту планету запомню навек,  
когда полечу на другую планету.

Но на этой планете, где всё родное, близкое «до прожилок, до детских припухших желёз» — «я пожизненно ничей». Вспомнилась Лариса Миллер:

Нас забыли под дождём.  
Мы не пикнули.  
Но как будто вечно ждём,  
чтоб окликнули.



Хотелось сказать: «Ты не один, Алёша! Ты «чей». Все мы — «потерявшиеся псы» на этой земле, забытые на снегу или под дождём, обиженные Божьи дети. Мы все когда-то «плакали в коридоре».

Ему, росшему в теплой атмосфере домашней любви и ласки, приходится выживать в ледяной пустыне душевного одиночества. Выживет ли?

В той тишине я остаюсь один,  
как памятник былому поколенью.

Он чувствует свою инакость, свою непохожесть на большинство и страдает от этого сознания.

Меня хорошему учили,  
а вышел брак.  
Наверно, что-то подключили  
во мне не так.  
Наверно, где-нибудь случился  
какой-то сбой.

Вот почему и получился  
я не такой.

Комплекс гадкого утёнка, ещё не знающего, что он — лебедь. Гибелью проникнута вся жизнь. Нет без неё и творчества. Борьба между желанием жить «как все» и обречённостью погибнуть для поэзии. Поэт не может «устроиться» в современной жизни. Среди стяжателей он один приносит жертву, среди оседающих тяжело на землю, врастающих в неё всеми четырьмя копытами, он один тоскует по забытым небесам.

Не смотри на небо часто:  
можешь улететь.  
Небо алчно и зубасто,  
есть у неба сеть.

Осторожней, кто не знает:  
небо — как магнит.  
Никого не отпускает,  
всех к себе манит.

Улетишь и не вернёшься:  
нет пути назад.  
В тёмном небе задохнёшься.  
Небо — это ад.



Он там был, был «на сумрачной звезде», он «плакал в коридоре» и предостерегает неискушённых в тоске, замороженных чарой мечты о прошлом: осторожно! Смерть.

Я всех друзей переживу.  
Мой Бог, за что мне эта мука?  
Я эти раны залижу  
как пёс, безропотно, без звука.

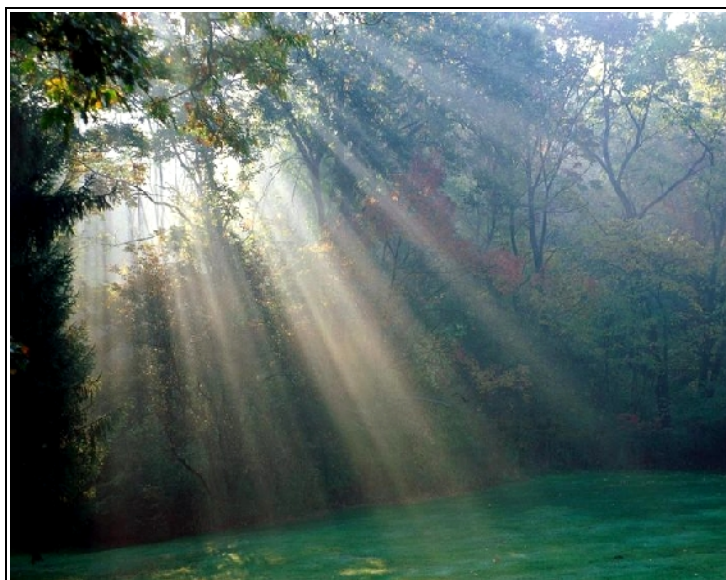
Меня друзья пусть встретят там,  
куда я провожу их с болью.  
И по традиции сто грамм  
закусим молча хлебом-солью.

Не надо говорить про то,  
как догорю закатом летним.  
Не опечалится никто:  
я буду уходить последним.

Он знает, какая это боль — терять близких, и не хочет, чтобы кто-то пережил её из-за него.

Ах, если б вы знали, как больно терять,  
любимое имя во сне повторять...  
Наверное, заживо легче сгореть,  
и легче сто раз самому умереть,  
чем памятью душу свою выжигать,  
чем просто потерю свою осознать.

Он, как ластиком, стёр свою душу, выжег её болью воспоминаний, чувством вины и безвозвратности потери. И через эту дыру хлынул свет.



Как пахнет яблоками в доме  
моём загадочно порою.  
Одно из них возьму в ладони  
и тайну Вечности открою.

«Меня их свет не раз спасал», — пишет он о звёздах. Но твой свет, Алёша, спасает всех нас и будет спасать ещё многих и многих.

### **Живое**

И ещё одну особенность мне хочется подметить в произведениях А.Солодова — как в стихах, так и в прозе: для него всё неживое — живое. Его поэтический мир — это мир живых, одушевлённых вещей, почти самостоятельных персонажей.

«Я чиркнул спичкой, а она сломалась и улетела в неизвестном направлении. Вынул из коробки другую и вижу, что у меня руки дрожат. А мне вдруг показалось, что это не



руки мои трясутся, а спичка вырывается: уж очень не хочется ей погибать. Я стою, смотрю на эту спичку и жалею. Что на меня нашло — понятия не имею, только кажется мне, что она живая, и всё тут. Головкой трясёт, просит, чтобы я её отпустил: «Не губи меня, Лёша, я жить хочу».

Сразу вспоминается Метерлинк с его «Синей птицей» (душа сахара, душа воды), сказки Андерсена (штопальная игла, калоша, оловянный солдатик).

Вчерашние вещи, как люди, болеют.  
О боли своей рассказать не умеют.  
Когда-то они украшением были,  
хозяевам верой и правдой служили.  
Теперь устарели — ненужными стали.  
Своё отслужив, износились, устали.  
Вчерашние вещи без боя сдаются,  
безжалостно бьются тарелки и блюда.  
Машины ржавеют под солнцем палящим,  
тоскуя о прошлом, живя настоящим.  
...За круглым столом Новый год отмечали.  
Теперь он скучает в тоске и печали.  
Он крепок ещё, он красив и надёжен,  
но в тёмном чулане лежит, обезножен.  
Как пели за этим столом и грустили,  
как всех, с кем ругались когда-то, простили,  
учили уроки и письма писали —  
он в этом чулане забудет едва ли.  
Такое забыть его сердце не может.  
Он болен. Лекарство ему не поможет.  
Он криком кричит, он пока ещё дышит,  
но крика хозяин его не услышит.  
Вчерашние вещи, простите нас, грешных,  
за то, что оставили вас, безутешных!



«У каждого человека, пусть он даже давно вырос, обязательно должна сохраниться какая-нибудь вещь из детства: книжка, или кукла, или машинка. С годами они становятся потрёпанные, обшарпанные. Но когда берёшь их в руки, не обращаешь на это внимания. Я свою книжку-малышку беру в руки очень бережно, чтобы она не рассыпалась от старости. И меня абсолютно не смущает её непрезентабельный вид. Наоборот, мне даже жалко её, старушку». («Квартирант»).

Нет, это не пресловутый «вещизм», не плюшкинская бережливость. Он просто в каждой вещи видит душу, наделяет их человеческими качествами и жалеет, как близких, живых существ. От одиночества? От доброты душевной? Или, может быть, оттого, что ему дано видеть чуть больше, чем нам с вами?

«Я даже немного пожалел свою квартиру: как она там, без меня? Скучает, наверное, и не поймёт, куда все убежали, и почему бросили её одну, на ночь глядя. Не грусти, старина. Я ненадолго. Приеду — и всё тебе расскажу». («Квартирант»)

«Милый сверчок... Каждый вечер он поёт нам свои песни, а мы так к нему привыкли, что даже не обращаем на него внимания. Мне почему-то кажется, что он просит нас, чтобы мы не оставляли его одного и подольше сидели и слушали его концерт». («Потерявшийся пёс на холодном снегу»).

Солодов не боится быть искренним, не боится показаться наивным, сентиментальным, прекраснородушным. И такая внутренняя сила — при всей внешней детской слабости и незащищённости — в этой независимости от чужого мнения, от чьей-то насмешки, пренебрежительного снобистского взгляда. М. Муллин пишет в предисловии к одной из его книг: «Автор рискует». Да не рискует он, он вообще не думает, как мне кажется, ни о каком риске, он безмерно далёк от этих бранных суетных вещей, когда разговаривает с небом, звёздами, душами милых. «Что мне, недруги, ваша стрела, если самоубийственна песня?» (Татьяна Бек).

«Вот стою я у окна и смотрю, как падают листья. И мне их стало немного жалко. Тех, которые были уже большие — не очень жалко, хотя и их, конечно, тоже. Но особенно мне было грустно смотреть на маленькие листочки. Уж очень они не вовремя появились на свет: только родились, не успели дожить до старости и вот уже приходится умирать. Листья, наверное, тоже чувствуют приближение смерти. Мне почему-то кажется, что природа понимает и чувствует больше нас, людей». («Квартирант»).



Стареет дуб, могучий дуб.  
Услышать стон из слабых губ  
и уловить последний вздох —  
не дай вам Бог, не дай вам Бог.

О берёзе:

Как холодно стоять без одеяла  
зимой, в мороз, заплаканной, в слезах.

О домашнем цветке: «Я уверен, что у нашей китайской розы есть душа. Представляете, что сейчас творится у неё в душе, если она даже перестала цвести!.. Когда умерла бабушка, роза ещё как-то крепилась. А за полгода до смерти мамы совсем загрузила и с тех пор не цветёт». («Потерявшийся пёс на холодном снегу»)

И даже боль свою ему жалко:

Боль, что во мне поселилась когда-то,  
бедная, чем же она виновата!

Меня поражало, какие живые слова он находил для неживой материи: «Тонет в канаве кораблик бумажный — юный герой, первоклашка отважный». «Измученный снег». «Снегу интересно, чем всё это закончится, и он сопровождает нас весь вечер». (Невольно вспоминается ахмадулинская «Сказка о дожде», который сопровождал её в гости).

«И вдруг мне пришло в голову, что души всех людей, которые покинули этот мир, один раз в году становятся снежинками, собираются в большую снеговую тучу и летят на землю, чтобы посмотреть, как мы без них живём. Целый год они скучают по нас, по городу, в котором жили, и ждут единственного дня, когда наступит их очередь слетать к нам в гости. ...Я и сам понимаю, что это ерунда. Просто мне очень захотелось, чтобы моя ерунда оказалась единственно верным и самым главным законом на Земле, а может, и во всей Вселенной. Я назвал бы его «Законом возвращения души». («Потерявшийся пёс на холодном снегу»).



## Перекличка

Что ещё меня поразило в стихах и прозе Алексея Солодова — настолько, что даже послужило решающим фактором в решении взяться за перо, — это удивительные совпадения, переклички с моими собственными строчками. Мы не были знакомы, не знали книг друг друга, существовали, можно сказать, в разных сообществах. И вдруг встречаю в строчках чужого мне человека — своё, выношенное, выстраданное. Как подслушал? Где подсмотрел? Но в том-то и дело, что никак и нигде. Мы просто шли параллельно одними и теми же дорогами.

А.С.: Ведь даже оттуда, из вечного мрака  
они всё равно наблюдают за нами.

я: Их души за нами следят,  
там, за небесами.  
Цветы на могилах глядят  
любимых глазами.  
Деревья щебечут слова  
родных голосами.  
О, как бы летела я к вам —  
морями, лесами...

А.С. : «И каждый раз, когда под звон курантов мы поднимали бокалы шампанского, я мысленно загадывал одно и то же желание: «Чтоб этот год не оказался для них последним».

я: Пусть это лето длится, длится...  
В душе с него снимаю слепок.  
Гляжу вослед любимым лицам:  
о, только бы не напоследок.

А.С.: На плёнку записан твой голос живой,  
его я сто раз в тишине прокручу.

я: Там, на экране, лицо твоё,  
улыбка твоя, глаза.  
В тысячный или в сотый я  
плёнку кручу назад.

А.С. : Пусть заповедника и нет  
на глобусе пока,  
но никогда не видел свет  
прекрасней уголка.

я: Есть заповедный один уголок,  
тайный глухой островок во вселенной.  
Там только неба ночного кусок,  
память и несколько строк сокровенных.

А.С. : Тихие улицы, старый Тамбов,  
год тридцать первый — рождение мамы.  
Как я мечтаю уехать в Тамбов...

я: Мне город Шахты видится сквозь дни,  
откуда родом пол моей родни,  
где я сама ни разу не была.  
Всё поглотила медленная мгла...

А.С.: «И вдруг, неизвестно откуда, появилась ночная бабочка и начала кружиться над нашими головами... Бабочка нарезала круги над нашим столом с невероятной быстротой... Когда я вернулся в зал, бабочки уже не было. Она, совершив какой-то прощальный ритуал, исчезла так же внезапно, как и появилась». («Квартирант»).

я: Незаметно влетела в окошко  
и кружит уже несколько дней.  
Эта странная тихая мошка  
что-то знает о маме моей.

А.С. : «Откуда-то вновь вылетела бабочка и закружилась около люстры. Она, как в ловушку, случайно попала в мою квартиру и теперь никак не могла найти выход. Бабочки не умеют говорить, но она летала так отчаянно, словно просила, чтобы ей помогли. Я не вытерпел, поймал её и выпустил с лоджии на улицу».

я: Что-то я стала сентиментальна:  
то без особой причины грущу,  
муху, что шумно летала по спальне,  
взяв осторожно, на волю пущу.

А.С. : «А мне очень нравится про мишку: у него оторвали лапу, но он знает, что всё равно его не бросят, потому что «он хороший».

я: Я прошу вас: помните мишек,  
потому что они хорошие!  
(стих-е, написанное в 13 лет, первая публикация в «Заре молодёжи»).

А.С. : Я позову — Вы не пойдёте.  
Спокойно спите.

я: Влечение, таинство, наитье,  
смешенье музыки и сна...  
Но, полно, тс-с! — спокойно спите.  
Вам ни к чему об этом знать.

А.С.: «Снег — свидетель моего знакомства с Ириной».

я: Снег — свидетель наших встреч,  
наших одиночеств...

«Бывают странные сближенья...»

### Ещё не вечер

Монтень писал: «Если бы меня заставили выбрать одного-единственного поэта, я бы выбрал Вергилия. За его «Эклоги»? Нет. За его «Георгики»? Нет. «Энеиду»? Нет. За то, что в своих произведениях он приютил многие прекрасные стихи других поэтов». Вот и мне хочется «приютить» в своих статьях, в своём душевном мире как можно больше строк любимых авторов. Алексей Солодов теперь в их числе.

А если однажды нахлынет беда,  
и если порвётся спасательный круг,  
я знаю, я верю — так было всегда —  
поможет твой голос — единственный друг.

(«Завещание»)

Стольким людям поможет теперь этот негромкий проникновенный голос! Столько людей прочтут и почувствуют: они не одни в этом холодном бесчувственном мире. И улыбнутся при мысли, что мир не прогнал, не изгадил, пока есть такие чистые светлые души, не умеющие забывать, предавать, разлюбить. Верные души.

Я прижимаю к груди эту книжку, как «драгоценный конвертик со словом «любовь». Мне хочется положить её под подушку. Мне хочется спрятать эту драгоценность в копилку сердца, поместить в заповедник своей души, где хранится неприкосновенный запас сокровенного.

Заканчивалась жизнь и начиналась песня,  
короткая, как ночь, и тихая, как сон.

Хочется верить, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования.

Что в погребке моём осталось?  
Чуть-чуть мечты, немного счастья.  
Оно найти меня пыталось  
в стране осеннего ненастья.  
Что в погребке моём осталось?  
Заветный ящик с крышкой красной.  
Всё остальное затерялось.  
И всё же жизнь была прекрасной.

На эти стихи хочется ответить его же строчками: «Ещё не вечер, милый друг, прощаться рано!»

«В последний раз я был счастлив, когда мама с бабушкой были живы, когда я ещё не знал слова «смерть», и одиночество не прописалось по моему адресу, а я не подозревал, что есть оно, одиночество...»





Ты ещё будешь счастлив, Алёша. «Неоднократно и по разным поводам», — как говорил герой володинских «Пяти вечеров». Как бы ни выматывали тебя тяготы жизни, как бы ни казались напрасными душевные траты — к тебе вернётся энергия твоего душевного порыва — обновлённой. И будет двигаться дальше — от одной души к другой, осуществляя процесс бессмертия. Как сам ты замечательно сказал в своих стихах:

И можно по второму кругу  
любить, страдать и возрождаться,  
превозмогая жизни муку,  
и этой мукой наслаждаться.  
И успокаиваться рано,  
и рано подводить итоги,  
пока болит на сердце рана  
и не исхожены дороги.

июнь 2010